

# **Мордовцев Даниил Лукич СИДЕНИЕ РАСКОЛЬНИКОВ В СОЛОВКАХ**

**Историческая повесть из  
времени начала раскола на Руси  
в царствование Алексея  
Михайловича**

## **1. БУРЯ НА БЕЛОМ МОРЕ У СОЛОВОК**

По Белому морю, вдоль Онежской губы, по направлению к Соловецкому острову медленно плыла небольшая флотилия из кочей, наполненных стрельцами. Кочи шли греблей, потому что на море стояла невозмутимая тишь, наводящая одурь на мореходов. Весна 1674 года выдалась ранняя, теплая, и вот уже несколько дней солнце невыносимо медленно от зари до зари ползло по безоблачному небу, почти не погружаясь в море даже ночью и нагоняя на людей тоску и истому. Марило так, что казалось, и небо было раскалено, и от моря отражался жар, и груди дышать было нечем. Кругом стояла такая тишина, что слышен был малейший плач морской чайки где-то за десятки верст, хотя самой птицы и не было видно,

да и ей в эту жарынь не леталось. Весла гребцов медленно, лениво, неровно опускались в морскую лазурь и блестели на солнце спадавшими с них алмазными каплями, а с самих гребцов по покрасневшимся лицам катился пот, смачивая разметавшиеся и всклокоченные пряди волос и бороды.

На переднем, на самом большом из всех кочей судне, у кормы, под натятым на снасти полозком сидит старый монах и, водя грязным толстым пальцем по развернутой на коленях книге, читает, гнуся и спотыкаясь на титлах да на длинных словах. На трудных словах особенно трясется его седая козелковая борода:

— «И от Троицы князь великий поеде и с великою княгинею и с детьми в свою отчину на Волк Ламской тешится охотою на зверя прысучаго и на птица летучая. И тамо яко некоим от Бога посещением нача немощи, и явися на позе его знамя болезненно, мала болячка на левой стране на стегне, на изгиби, близ нужного места, с булавочную голову, верху у нея нет, ни гною в ней нет же, а сама багрова. И тогда наипаче внимаше себе, яко приближается ему пременение от маловременнаго сего жития в вечный живот»...

— «От маловременнаго сего жития в живот вечный»... вон оно что! А все никто как Бог, — рассуждал монах, переводя дух и поправляя на

голове скуфейку. — Уж и теплынь же, воевода.

— Что и говорить, тепла печка Богова, — отвечал тот, кого назвали воеводою, сидевший тут же под холстовым напястем.

А с задних судов доносился говор и смех, но как-то вяло, лениво. По временам кто-то затягивал песню, другой подхватывал — и лениво, монотонно тянули:

Сотворил ты. Боже, да и небо-землю,  
Сотворил же, Боже, весновую службу.  
Не давай ты. Боже, зимовые службы,  
Зимовая служба молодцам кручинна,  
Молодцам кручинна, да сердцу неусладна...

— Али в экое пекло лучше! — протестует чей-то голос.

— «...И посла по брата своего по князя Ондreja Ивановича на потеху к себе. Князь же Ондрей приехал к нему вскоре. Тогда князь великий нужею выеха со князем Ондреем Ивановичем на поле с собаками», — продолжал гундосить монах под пологом.

...Ино дай же. Боже, весновую службу,  
Весновая служба молодцам веселье,  
Молодцам веселье и сердцу утеха.

— ...А я в те поры был у его, у Стеньки, в водоливах на струге, как он гулял с казаками. А она, любовница ево, царевна персицка, сидит на палубе, на складцах, словно маков цвет, изнаряжена, изукрашена, злато-серебро на ей так и горит. А Стенька выпил-таки гораздо, да и ну похваляться перед казаками: мне, говорит, все нипочем, всего добуду и Москву достану. Да и подходит это к своей любовнице, берет ее на руки, словно дитю малую, подносит к борту да и говорит: «Ах ты, Волга-матушка, река великая! Словно отец с матерью ты меня кормила-поила, златом-серебром, славой-честью наделила, а я тебя ничем не одарил... На ж тебе, возьми!» Да так, словно шапку, и махнул в воду свою любовницу.

— Что ты, братец ты мой! И утопла?

— Как топор ко дну.

Это ведут беседу стрельцы, сидя на носу передового судна. Судно это наряднее всех остальных кочей. Нос и корма его украшены резьбой и расписаны яркими цветами. На вершине мачты, над вертящимся кочетком, водружен восьмиконечный крест. Пониже, в неподвижном воздухе, висит на натянутой снасти красный флаг с изображением Георгия Победоносца. Это судно воеводское. Несколько чугунных пушек поблескивает на солнце, выглядывая за борт.

— ...Что ж, воевода, говоря по-божьему, их,

старцев, дело правое, говорил монах, — двумя персты все мы от молодых ногтей маливались, и я, и ты. Вон и в этой книге, гляди-тко, изображен старец, видишь? Вон у его перстилки-то два торчат, аки свечечки, а большой перст пригнут.

И монах тыкал пальцем в изображение на одной странице книги.

— Так-то так, я и сам не больно за три персты-то стою, — нехотя отвечал воевода, — да они за великого государя не хотят молиться: еретик-де.

— Ну, это дело великое, страшное: об ем не то сказать, а и помыслить-то, и-и! Спаси Бог!

Они замолчали. Молчали и стрельцы, только гребцы медленно и лениво плескали веслами да назад тянули про «весновую службу»:

А емлемте, братцы, Яровы весельца,  
Да сядемте, братцы, в ветляны стружочки,  
Да грянемте, братцы, в Яровы весельца,  
В Яровы весельца — ино вниз по Волге.

— Вон и они про Волгу поют. Хороша река, вольна, — снова заговорил стрелец.

— Как же ты с Волги сюда попал, коли у Разина служил?

— Да у него-то я неволей служил... Допреж того служба моя была у воеводы Беклемишева, и

там, как Стенька настиг нас на Волге да отодрал плетьюми воеводу...

— Что ты! Воеводу! Беклемишева?

— Ево, да это еще милостиво, диви что не утопил... Ну, как это попарил он нашего воеводу, так и взял нас, стрельцов, к себе неволей. А после я и побег от него.

— И ноздри тебе на Москве не вырвали?

— За что ноздри рвать? Я не вор.

— А ты видел, как потом Стеньку-то на Москве сказнили?

— Нет. В те поры мы стояли в черкасских городех, потому чаяли, что етман польской стороны. Петрушка Дорошонок, черкасским людям дурно чинить затевал.

— А я видел. Уж и страсти же, братец ты мой! Обрубили ему руки и ноги, что у борова, а там и голову отсекли, да все это — на колья... Так голова-то все лето на колу маячила: и птицы ее не ели, черви съели, страх! Остался костяк голый, сухой: как ветер-то подует, так он на колу-то и вертится да только кости-то цок-цок-цок...

На западе, ближе к полудню, что-то кучилось у самого горизонта в виде облачка. Да то и было облачко, которое как-то странно вздувалось и как бы ползло по горизонту, на полночь.

— Никак, там заволакивает аер-от...

— И впрямь, кажись, облаци Божьи. Не

разверзет ли Господь хляби небесны? — крестится монах.

— А добре бы было, страх упека.

Воевода расстегнул косой ворот желтой шелковой рубахи, зевнул и перекрестил рот.

Облачко заметно расползлось и вздувалось все выше и выше. Казалось, что в иных местах серая пелена, надвигавшаяся на юго-западную половину неба, как бы трепетала. Старый помор-кормщик, сидевший у руля воеводского судна, зорко следил своими сверкавшими из-под седых бровей рысьими глазками за тем, что делалось на горизонте и выше. Жилистая, черная, как сосновая кора, рука его как-то крепче оперлась на руль.

Слева, по гладкой, почерневшей поверхности моря прошла полосами змеистая рябь. Неизвестно откуда взявшаяся стая чаек с плачем пронеслась на восток, к онежскому берегу, которого было не видно. Душный воздух дрогнул, и кочеток заметался и заскрипел на верху воеводской мачты. Что-то невидимое затрепетало красным полотном, на котором изображен был Георгий, прокалывающий змия с огромными лапами.

— Ай да любо, ветерок! Теперь бы и косым парусом можно, послышалось откуда-то.

— Напинай, братцы!

— Стой! Не моги! — раздался энергичный

голос старого кормщика-помора.

Вдали, на западе, что-то глухо загремело и прокатилось по небу, словно пустая бочка по далекому мосту. Солнце дрогнуло как-то, замигало, бросило тени на море и скоро совсем скрылось. Высоко в воздухе жалобно прописнула, как ребенок, какая-то птичка, и скоро голос ее затерялся где-то далеко в неведомом шуме.

— Не к добру, — проворчал старый кормщик, вглядываясь во что-то по направлению к Соловкам. — На экое святое место да ратью идти!..

— Ты что, дядя, ворожишь? — спросил, подходя, тот стрелец, что служил у Стеньки Разина в водоливах.

— Что! Зосима-Савватий осерчали, дуют.

— Что ты, дядя! За что они осерчали?

— А как же! На их вить вотчину, на святую обитель ратью идем.

— По делам, не бунтуй.

Небо загремело ближе, и как бы что-то тяжелое, упав и расколовшись, покатилося по морю. Порывом ветра, неизвестно откуда сорвавшегося словно с цепи, метнуло в сторону полотняный намет и, потрепав в воздухе, бросило в воду. Монах, придерживая скуфейку, прятал под полу книгу, а воевода торопливо застегивал ворот рубахи и крестился «Свят-свят-свят...».

Торрох! Расколосось и обломилось, казалось,



все небо над головами оторопелых стрельцов, по-над морем, там и здесь пронеслись огненные стрелы, снова разорвалось небо, и хлынул дождь.

Все кругом крестились, полной грудью втягивая посвежевший влажный воздух и выставляя под дождь разгоревшиеся головы и лица.

— Ай да важно! Разлюли малина, — раздавались веселые голоса.

Кто-то запел по-детски: «Дожжик-дожжик, припусти!..» Один старый кормщик глядел сурово, заставляя судно поворачиваться левее.

— Водоливы! К плицам! — громко закричал он. — Воду выливай.

Действительно, воды налило много. Кочи стали идти грузнее. Намокшее красное полотно с Георгием Победоносцем болталось, как тряпка, тяжело хлеща по снастям. Ветер крепчал и вздымал море, которое, казалось, распухало, а местами прорывалось и белело тяжелыми брызгами. Беляки шли грядами, и кочи, сбившись с первого курса, тыкаясь в белые буруны носами, метались в беспорядке, как щепки. Кое-где слышались испуганные голоса, резкие выкрики кормщиков.

Монах, упав на колени и ухватившись одной рукой за уключину, громко молился и вздрагивал всем телом, когда его окатывало солеными брызгами: «Господи, спаси! Всесильный, не утопи! Пророк Иона! Пророкушка, матушка! Во чреве

китов», — бессвязно стонал он, поднимая правую руку к небу, которое на него свирепо дуло и брызгало водой. Воевода, ухватившись обеими руками за мачту, испуганно озирался, бормоча не то молитвы, не то заклинания: «Охте мне! Светы мои! Зосим-Савватий! Соловецки! Охте, охте!» Стрелец, что служил у Стеньки Разина водоливом, торопливо сбрасывал с себя сапоги, рубаху и порты, как бы собираясь броситься в море и плыть, сам не зная куда.

Одно судно, на котором еще недавно раздавалась песня о «весновой службе», потеряв руль, отбилась в сторону и перекидывалось с гребня на гребень, как пустое корыто. Другие кочи также разбились врозь и то выскакивали на белые гребни валов, то ныряли, болтая в воздухе жалкими мачтами, словно маленькими веретенами. Ветер завывал и взвизгивал, как бы силясь растрепать и оборвать ничтожные снасти, которые потому именно и не обрывались, что были слишком ничтожны...

Еще раз небесная пелена разодралась сверху донизу, и треснул гром; звякнул второй раз еще резче и заколотил по небу сотнями орудий.

На отбившемся и потерявшем руль судне раздался отчаянный крик: «О-оо! Православные! Батюшки! Спасите, кто в Бога верует!»

— Наляг на гребки, братцы! С Богом,

наляг! — хрипло командовал кормщик воеводского судна, направляя ход его к тому месту, откуда неслись отчаянные крики.

Гребцы налегли всей грудью, то погружая весла глубоко в пенящиеся волны, то скользя лопастями по бокам валов. Судно вздрагивало, то тыкаясь в воду носом, то западало кормой, так что кормщик, казалось, правил свое судно на водяную перекатывающуюся гору. Судно, потерявшее руль, видимо, потопало: края его чуть заметно чернели в пенящихся бурунах, и только виднелись руки, протягивающиеся к небу, словно рассвирепевшее небо собиралось бросить им спасительные веревки, а на мачте и на снастях отчаянно бились те, которые искали спасения повыше от зияющей и клокочущей бездны.

Не успело воеводское судно настигнуть погибавшее, как последнее совсем захлестнуло темно-зеленым с белым гребнем буруном. Руки, тянувшиеся к небу, разом упали и замолкли на клокочущей поверхности моря, то подымаясь, то исчезая в воде.

— Кидай причалы! Подавай концы, детушки! — не выпуская из рук руля, повелительно и с мольбою кричал старый помор-кормщик.

Взвились в воздухе, разматываясь и кружась волчком, бичевы и веревки и упали в воду в том месте, где потопавшие боролись с волнами,

бледные, с искажившимися от ужаса лицами. Иной, видимо, с отчаянием и злобой погибающего отбивался от топившего его, не умевшего плавать и держаться на воде соседа. Иные руки хватались за веревки, другие, безнадежно поколотив воду, исчезали совсем под нею. Более умелые и сильные боролись с волнами сами и плыли к спасительному судну.

— Православные, спасите Киршу! Полуголове помогите, батюшки! взмолился воевода, забыв свой собственный страх.

А Кирша, стрелецкий полуголова, взобравшись на мачту потонувшего и уже скрывшегося под водою судна, не чувствуя, что сама мачта опускается все ниже и ниже, умолял сиплым голосом:

— Православные! Отцы мои! Не покиньте! Тону.

Набежавшим буруном тряхнуло мачту, руки Кирши скользнули по мокрому дереву, и он, подняв руки к небу, исчез под водою.

— Господи! Помяни во царствии раба... Господи! — с ужасом шептал воевода, безумно озираясь.

— Да, прогневались на нас святые угоднички Зосима-Савватий за то, что мы хотим их святую обитель разорить, — твердил старый кормщик. Преподобные, помилуйте!

## II. ЧЕРНЫЙ СОБОР И ПОСОЛ КИРША

На другой день после грозы и бури стояло чудное летнее утро. Море, накануне всколыхнувшееся мгновенно налетевшею бурей и разметавшее стрелецкую флотилию, теперь снова улеглось на покой и казалось еще голубее, чище и приветливее, чем было до бури. Остров, святая вотчина преподобных Зосимы и Савватия, с темною зеленью, иглистыми лесами и резко очерченными берегами, у которых кружились, реяли в прозрачном воздухе, плакали и выпискивали на разные голоса чайки, мартыны-рыболовы и острохвостые стрижи, казалось, радостно тянулся к небу своими церквами и башнями, словно так и вышедшими, как из купели, из голубой морской пучины. Спасшиеся от потопления стрелецкие суда-большаки и кочи тихо, едва заметно колыхались у берега на поверхности глубокой соловецкой губы, красиво окаймленной зеленью и серыми, проросшими мохом камнями.

Но в самом монастыре было беспокойно. Во всей святой обители господствовала необычайная тревога. Монастырские ворота и все входы и выходы были заперты. По стенам ходили часовые с ружьями, зорко следя за тем, что делалось на берегу, около стрелецких кочей, и прислушиваясь к

смутному говору и смятению, господствовавшим в стенах обители. Соборный колокол, разнося гул далеко по острову и по морю, не то бил сполох, не то созывал черный собор, всю братию и богомольцев, священников и диаконов, соборных старцев и братию рядовую и больничную, монастырских служек и трудников, служилых людей, усольцев и всех православных христиан. В то же время пушкари монастырские по башням и бойницам чистили и заряжали наряд, пушки и пищали затинные. Монастырские голуби, которым так привольно жилось в монастыре на всем готовом, и сизые, и белые волосатые, и глинистые, рудо-желтые, и турмана всех цветов и «в штанцах», белоглазые глуповидные галки, космополиты воробьи и стрижи, охотники до всего высокого и грандиозного, до высоких церквей и грандиозных скал, — все эти пернатые отшельники и певчие, выпугнутые из своих келий-гнезд необычным движением, звоном и суетнею на стенах и башнях, шумно кружились над монастырем и кричали на все птичьи голоса, не зная, где присесть и что думать о суетившейся черной братии, забывшей даже сегодня посыпать зерна и крошек для своей крылатой скромной братии. Один, особенно любимый черною братиею глинистый турман «в штанцах», видя общую суматоху и приняв ее сглупу за общее торжество, такие выделял в

воздухе кувырки, что Исачко Воронин, сотник и стратег всего монастырского воинства, зарядив на монастырской стене последнюю затинную пищаль, так залюбовался на воздушные кувырки любимого монастырского голубя и так задрал свою бородатую голову к небу на этого сорванца птицу, что чуть не опрокинулся со стены.

На звон колокола из всех монастырских келий, словно черные тараканы из щелей, посыпала черная братия: из пекарен и трапез, из прядильных и дубильных изб, из странноприимных и больничных домов и из схименных конурок. Все это, как пчелы, гудело и торопливо, насколько могло, направлялось к собору, на площадке у которого уже виднелась старшая монастырская братия, отцы строители и рядители: архимандрит Никанор, необыкновенно большебровый и горбоносый старик, келарь Нафанаил, кругленький и пузатенький старичок с красным носом и бородакою в виде двух клоков немытой шерсти, отец Геронтий, сухой и длинный, как сыромятный кнут, чернец, с лицом испостившегося «мурина», городничий старец Протасий — острибородатый, с плутоватыми глазами постный лик. Тут же и мирские лица — сотник Исачко, уже сошедший со стены, и сотник же кемлянин Самко: первый — косою на оба глаза, но необыкновенно меткий пушкарь со вздернутым носом и бороною, второй

— с поклопым носом рыжий мужик с рыжею, широкою, как лопата, бородою.

Тут же в кругу стоял и стрелецкий полуголова Кирша, которого накануне мы видели на мачте погибшего судна. Кирша не утонул: он погрузился было в море, но его зацепили багром за кафтан и спасли. У Кирши в руках какая-то бумага. Рядом с ним — тот монашек с козелковой бородкой, что читал на море воеводе книгу о преставлении государя и великого князя Василия Ивановича.

Сборище у соборного круга увеличивалось с каждою минутой. Сошлись не только монастырские жители, но и пришедшие издалека, из всех концов Московского государства богомольцы и богомолки — из Архангельска, из Москвы, Сибири, с Дону, Волги и даже из черкасской земли. Был тут и галанский немец из Амбурха-града, имевший торговый дом в Архангельске и часто наезжавший в Соловки для покупки у братии поташу, смолы и рыбьего зуба; это был бритый, круглощекий, с голубыми глазами за пивною слюдой немец, и звали его Каролусом Каролусовичем. Каролус Каролусович тоже пришел полюбопытствовать, по какому случаю такой собор в монастыре. Вместе с ним и с семейством архангельского купца Неупокоева, приехавшим поклониться соловецким угодникам, вышла к собору и «аглицкая» немка мистрис Пристлей, давно жившая в Архангельске



со своим мужем, агентом одного лондонского торгового дома мистером Пристлеем, и известная всем архангельцам под почетным титулом «аглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой». Это была высокая сухощавая женщина с розовыми щеками, белыми и выдающимися, как у кролика, зубами и глинистыми, как перья у голубя «в штанцах», волосами. Амалея Личардовна приехала в Соловки просто из любопытства, посмотреть на это московитское, как ей казалось, Уэстминстерское аббатство. В долгое пребывание в Архангельске она порядочно выучилась говорить по-русски и была особенно хорошо знакома с женою Неупокоева и его дочкою, семнадцатилетнею девушкою Оленушкою, с которыми теперь и пришла посмотреть на монастырское сборище и послушать, что там будет.

Когда они пришли к сборищу, то увидели, что какой-то широкоплечий, с сросшимися бровями стрелец, это был Кирша, подал архимандриту Никанору свиток с висевшею на шнурке черною печатью, а тот, развернув свиток и повертев его в руках как что-то такое, которое не знаешь с которого конца и начать, передал в руки сухому монаху с лицом мурина, грамотею Геронтию.

Геронтий развернул свиток, нагнулся к печати, как бы обнюхивая ее, выпрямился, как

смоленный шест, кашлянул словно из бочки и тоже словно бы из бочки начал что-то читать. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме отдельно выкрикиваемых слов: «сие наше», «со-со-соборное послание», «и завещание», «передаем и повелеваем неизменно хранить», «и по-и поко-и покорятся святей во-восточней церкви...» Далее отец Геронтий овладел трудностями дьяческой с завитками каллиграфии, и из бочки потекли плавно страшные слова:

— «Аще ли мя кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей восточней церкви и освященному собору или начнет прекословити и противлятися нам, — гремело на весь черный собор, — и мы такового противника, данную нам властью от святаго и животворящаго Духа, аще будет от освященнаго чина, извергаем и обнажаем его всякаго священнодействия и благодати, и проклятию предаем...»

При слове «проклятие» сдержанный ропот прошел по собору. Все груди, по-видимому, тяжело дышали. Все усиленно, мучительно-напряженно вслушивались в читаемое и едва ли многое понимали: понимали только одно «проклятие»; кто-то кого-то проклинал... Кого же, как не их, черную смиренную братию, братию рядовую, служек и трудников? А за что? Вон какие мозоли

они понатерли на своих грубых ладонях, работая на святых угодничков Зосим-Савватия... А их проклинают... Трудно дышит братия, слышно даже это усиленное дыхание... Иные не то скорбно, не то укоризненно качают поникшими головами...

У отца Никанора ходенем ходят большие брови, а лицо все более и более краснеет. Старец Протасий, оглядывая исподлобья черную братию, глубоко вздыхает. Один Исачко-сотник косит своими глазами на Киршу-стрельца и как бы хочет сказать: «А попробуй, мы те покажем Кузькину мать...»

— «Аще же от мирского чина, — продолжают вылетать слова из сухой бочки, — отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православнаго всеочленения и стада и от церкви Божия отсекаем яко гниль и непотребен уд, допреже вразумится и возвратится в правду покаянием».

Отец Геронтий передохнул и поправил на висках и на лбу волосы, потому что и на лбу и на висках проступал пот. От волнения и натуги свиток дрожал в его руках и печать на шнуре колыхалась. Сотник Исачко от скуки, он человек ратный и письмо не его дело, его дело зелье нарядное да пицаль затинная, Исачко выследил над монастырем своего любимца голубя, турмана «в штанцах», и

искоса опять поглядывал на его отчаянные кувырки в воздухе.

— Что дале, на нет чти, — нетерпеливо и дрожащим голосом понукнул архимандрит.

— «Аще ли кто не вразумится, — продолжал отец Геронтий, — и не возвратится в правду покаянием и пребудет в упрямстве своем до скончания своего — да будет и по смерти отлучен и непощен, и часть его и душа со Иудою-предателем и с роспеншими Христа жидовы и со Арием и с прочими проклятыми еретиками, железо, каменные и древесна да разрушатся и да растлятся, и той да будет неразрешен и не разрушен и яко тимпан бряцай во веки веков, аминь!»

Многие стояли бледные, дрожащие. Одни робко, недоумевающе поглядывали друг на друга, другие с какою-то робкою мольбою смотрели на старого архимандрита. Отец Никанор — стар бывал человек, живал и на Москве, и архимандричал в Саввином монастыре, и на глазах у царя бывал, и царь его жаловал. Что-то он, отец Никанор, скажет? Или так-таки всех и выдаст головой анафеме? Али на них и закона нет? А Никанор стоит заряженный, как затинная пищаль. Губы его дрожат. Он вспоминает, как в Москве, лет пять тому назад, принудили его покориться собору, отречься, отплеваться от двуперстия и сугубой аллилуйи, пасть сметием и прахом под нозе Никона... И стыд

за прошлый позор, и поздня злость на свою тогдашнюю слабость потоком гнали его старую, но кипучую еще кровь от сердца к пунцовым щекам, к глазам... Вон Аввакум-протопоп не убоится собора нечестивых и пребысть крепок, аки адамант и яко скала нерушим...

Оленушка, взглянув на Никанора, испуганно прижалась к матери. Ее синие, как морская вода под ярким солнцем, длинные глаза расширились и потемнели.

— А что дале, после аминя? — резко вдруг спросил Никанор.

— После аминя скрепа дьяка Патриарша приказа, — отвечал Геронтий.

Никанор, взяв из рук его свиток и обведя глазами собор, выпрямил свое старое тело. Он видел, что грамота с проклятием произвела удручающее впечатление на всю братию и даже на ратных людей, преданных монастырю, между которыми, кроме местных поморов и усольцев, находилось несколько донских казаков, после поражений Стеньки Разина перекинувшихся с Волги на Белое море, на службу к соловецким старцам, ибо Стенька не раз говаривал своим удалым молодцам, что и он когда-то был в Соловках и маливался соловецким угодником. Никанор всего более боялся, чтобы ратные люди, под страхом анафемы, не покинули монастырь на

произвол судьбы, и потому сразу решил, что ему делать. Он подошел к Кирше, как к посланцу царского воеводы, и стал так, чтобы его видели ратные люди, особенно сотники Исачко и Самко.

— Ты почто прислан к нам? — спросил он громко посланца.

— Прислан я с грамотой, — отвечал Кирша, поводя сросшимися бровями.

— Мы вычли оное безлепичное лаяние патриарша дьяка и то бреханье на ветер пустили. Почто ж еще ты прислан к нам?

— Прислан я, — заговорил Кирша по-заученному, — от воеводы Ивана Мещеринова, чтоб вы, соборная и рядовая братия, добились челом великому государю...

— А потом что?

— Чтоб принесли великому государю вины свои...

Никанор перебил его, схватив за руку:

— Вин за нами перед великим государем нет и не бывало и добивать нам челом великому государю непочто, кроме как молиться за его государское здоровье, и мы то делаем, — скороговоркой проговорил он. — Поди и доложись о сем твоему воеводе... Слышал?

— По указу его царского пресветлого величества, — как бы не слушая его, продолжал Кирша, — воевода приказал вам монастырь

отпереть и государевых ратных людей принять с честью.

Никанор окончательно вспылел.

— Али твой воевода царским словом торговать стал! — закричал он. Али пресветлое царское слово может исходить из такого поганого смердьего рта, как у твоего воеводы? Али у великого государя бумаги и чернил не достало, чтобы слово его пресветлое всякими пьяными глотками в кабаках выкрикивалось? А! Так, что ли?

Озадаченный Кирша не знал что отвечать. Он догадался, что воевода сделал оплошность.

— Говори! — приставал к нему Никанор. — Как твой воевода смел украсть царское слово? Али он не знает, что царское слово, как и слова Господа нашего Иисуса Христа либо в церкви, как святое Евангелие, должны возглашаться, либо царскою грамотою, по титуле, объявляться? А! Так вы этого не знали!

По собору прошел ропот одобрения. Головы поднялись уверенно, бледность сбежала с лиц. Исачко смело и дерзко измерял своими косыми глазами Киршу, как бы вызывая его на немедленную потасовку. Послышались выкрики: «Али на них и суда нету!», «Али они и впрямь своим дурным наше доброе извести хотят!», «Чего их слушать! Воровство их знакомое!»

Кирша стоял как притравленный зверь,

озираясь по сторонам. А прибывший с ним монашек испуганно топтался на месте, точно выглядывая норку или скважинку, в которую можно было бы юркнуть.

В это мгновение в самую середину круга протискивался какой-то оборванец с длинными, как у простоволосой бабы, никогда не чесанными пасмами волос, падавшими ему на худое, аскетическое лицо и на плечи. Оборванец был босиком, в одной, чужой по-видимому, рубахе, которая была слишком длинна для него. Из-под рубахи виднелись голые худые, как щепки, икры ног. На шее у него, как у цепной собаки, висела и при движении звякала тяжелая цепь, замкнутая большим замком у горла, ключ от которого был брошен в море. Оборванец держал в руках старую скуфейку, в которой, скукожившись в комочки, спали еще не оперившиеся, с золотым пушком, голубиные выводки. Оглянув круг и нагнувши свою косматую голову, подобно барану, собирающемуся драться, он затопал ногами и, припрыгивая, запел детским голосом:

Бушка-баран,  
Не ходи по горам,  
Убьют тебя  
Не пеняй на меня.



Многие вопросительно и испуганно переглянулись. Монастырь давно привык к разным выходкам и причудам своего юродивого; но всегда искал в его словах чего-либо пророческого, какого-либо иносказания и иногда, конечно, большею частью уже впоследствии, когда какое-либо событие совершалось, истолковывал их в пользу пророческого провидения своего юродивого: «А вишь, Спиря-то блаженный предсказывал нам это тогда, да мы то, грешные, не уразумели его святых словес, — говорили обыкновенно монахи, когда случалось что-либо неожиданное. — Вон тады, как с Москвы нам прислали книги с трегубым аллилуем да с треперстием, Спиря-то все нам пел об трех «люлях» да об «гулях»:

Люли, люли, люли,  
Прилетели гули.

«...Ан стрельцы-то и были эти «гули» самые, а нам, глупым, и невдомек; а «люли»-то была сама трегубая аллилуйя».

Так и теперь «бушка-баран» — это был не просто баран, а кто-либо другой: либо монастырь, либо стрельцы, что под монастырь пришли. «Не ходи, бушка, по горам, убьют тебя» — это что-то очень страшное. Кого Божий человек

предостерегает этим: братию ли, посланца ли этого? Кому быть убитым? Эти тревожные вопросы возникали в душе каждого. Одним казалось, что Спирия грозит посланцу, даже в него и лбом уперся; а другие явно видели, что он будто бы показывал вид, что бодает отца архимандрита Никанора.

— Гулюшки, гули, — забормотал вдруг юродивый, нагибаясь к своей скуфейке, — а... проснулись, детки, естушки захотели.

Птенцы действительно подымали свои пушистые с неуклюжими ртами головки и, видимо, искали пищи. Юродивый тут же сел наземь, вынул из сумочки, что висела у него через плечо, горсть зерен, положил их себе в рот, пожевал и пригнулся лицом к скуфье. Птички широко раскрыли красные рты и сами полезли головками в рот юродивого.

Архимандрит Никанор, озадаченный было сначала появлением юродивого и его загадочными словами, скоро пришел в себя и, обведя собор своими волосатыми бровями, обратился к Кирше с угрожающим жестом.

— Поди, скажи твоему воеводе, чтоб он убирался подобру-поздорову: обитель преподобных Зосимы-Савватия не петровское кружало.

Кирша выпрямился.

— Так это вы постановили? — спросил он глухо.

— Постановили и на том стоим, — отвечал

Никанор.

— Так мы вас добывать станем, как государевых изменников, — резко сказал Кирша.

— Добывать!

Никанор обернулся и показал рукою на монастырскую стену. На стене в разных местах чернели пушки, около которых стояли пушкари.

— Видишь, каковы у нас галаночки?

— Видим-ста: и у нас таких теток довольно, погорластее ваших будут.

— Что он похваляется своими тетками! — возразил Геронтий. — Нам не впервой спроваживать их: али не Игнашка Волохов сломал свои зубы об наши стены?

— Да и Иевлев Корнилко ни с чем ушел, — заметил Никанор, — обитель-то преподобных Зосим-Савватия крепенька живет, сам святитель Филипп, митрополит московский, стенки те выводил.

— Что с ним разговаривать! — слышалось в толпе. — Шелепами его!

— Вон из обители! Вон нечестью! А то и на чеи посидите, — подхватили голоса.

Кирша видел, что его посольство кончено. Он поклонился Никанору и надел шапку.

— Долой шапку! Али не видишь, где ты? Ты перед черным собором! загудела черная братия.

Кирша повиновался, снял шапку и направился

к монастырским воротам. За ним подтюнцем поспешал согнувшийся монашек. Городничий старец Протасий, у которого на поясе висел огромный ключ, сотники Исачко и Самко последовали за посланцами. Старец Протасий отпер одну четвертную складку массивных железных ворот и, пропустив Киршу и монашка, снова запер монастырскую твердыню.

Скоро рослая фигура Исачки вырисовалась на вершине стены. Он стоял, оборотясь к морю, и грозил кому-то кулаком.

### **III. ОТБИТЫЙ ЧЕРНЕЦАМИ «ВОРОП»**

— Бог в помочь тебе, человеце Божий, — сказала Неупокоиха, смиренно подходя к Спири и низко кланяясь ему. — Благослови нас, грешных, да помолись твоими святыми молитвами о здоровье рабов Божьих: меня, рабы божьей Акулины, да рабы божьей Олены, да раба божья Остафья.

При этом Неупокоиха положила перед Спирей золотую монету. Спирия в это время сидел на нижней ступеньке соборного крыльца и играл с своими птичками. Он молча посмотрел на купчиху своими серыми живыми глазами, глубоко запавшими, потом перенес их на Оленушку, которая робко взглянула на него и потупилась, готовая, по-видимому, заплакать: так дрожали ее

губы, и щеки подернулись алой краской, как перед слезами. По лицу и по глазам юродивого пробежал свет и тотчас же как бы отлетел, а лицо подернулось туманом.

Молча полез он в свою сумку и, пошуршав там чем-то, вынул оттуда... Оленушка чуть не вскрикнула при виде того, что он вынул, а мать ее испуганно перекрестилась. Юродивый вынул из своей сумки человеческий череп. Это был желтый, потемневший костяк, который, вероятно, очень долго лежал в земле. Спирия долго смотрел на него, тихо качая косматой головой, потом снова перенес свой взгляд на Оленушку. Теперь в этом взгляде теплилось что-то доброе.

— Видишь это, раба Божья Олена? — спросил он, обращаясь к девушке.

Та стояла молча и дрожала, прижимаясь к матери. Расширившиеся от испуга глаза готовы были брызнуть слезами. Нижняя губа сложилась в плаксивую складку.

— Видишь, Оленушка? — переспросил юродивый ласково.

Молчит испуганная девушка. Не менее испуганная мать хватается ее за руку.

— Говори... молви словечко, дитяtko... Говори Божьему человеку: вижу, мол, — бормотала она.

— Вижу, — чуть слышно прошептала

девушка.

Юродивый замотал головой, взглянул на солнце, которое высоко стояло над монастырской оградой, снова перенес глаза на череп, перекрестил его, поцеловал и опять остановил свой взгляд на смущенном лице девушки.

— А она была похожа на тебя, — сказал он тихо, — только у нее глаза были черные, что крупный терн, а у тебя вон сини... Да она ж была грешница, а ты чистая отроковица... Молись же об ее душеньке, об рабе Божьей Анастасее... Будешь молиться?..

— Буду, — прошептала Оленушка и вдруг заплакала.

— Что ты! Что ты, дитячко! — утешала ее мать. — Божий человек тебе святое слово сказал, что ж плакать? И я буду молиться об рабе Божьей Анастасее, — говорила она, по-видимому, совсем успокоенная. — Кто ж она была, Анастасея-то?

— Гулюшки, гули, — заговорил юродивый, не отвечая на вопрос и обращаясь к своим птенцам. — Ишь вор, отнял у вас матушку.

— А они сиротки? — участливо спросила Неупокоиха.

— Их матушку голубку Никон съел, — ответил юродивый.

— Какой Никон, батюшка?

— Вор-ястреб.

— Ах, бедны сироточки!

Юродивый вспомнил о червонце, который положила у его скуфьи Неупокоиха, взял его и возвратил ей.

— Отдай сей сор сметие тем, у кого хлеба нет, — сказал он, — пушай помянут рабу Божию Анастасею.

В это время подошла к ним аглицкая немка Амалея Личардовна. Увидев ее, Спирия торопливо схватил свою скуфейку с птичками и побежал, испуганно оглядываясь и бормоча: «Чур-чур-чур! Бес во образе немки... бес с курьими лапками...»

— Это дурачок, матушка? — спросила она Неупокоиху.

— Нет, матушка, Амалея Личардовна: он юродивый, урод Христа-ради, отвечала та.

— Так шут?

— Нет, матушка, не шут, помилуй Бог! — испуганно заговорила набожная купчиха. — Он Божий человек, святой, что ты!

— А у нас, в аглицкой земле, таковых юродивых нет, а есть токмо шуты, и они бывают умны гораздо, — настаивала аглицкая немка, которая хотя и давно жила в России, а все еще многие стороны жизни поражали ее.

— Нету, нету, родимая, то шуты — особо статья: то у нас скоморохи, гудошники, бражники... А то уроди Христа-ради.

Амалея Личардовна вспомнила, как она, еще девушкой, в первый раз увидела своего будущего жениха в театре и именно когда играли об одном несчастном старом короле, которого называли Лиром и у которого были три дочери. Там она видела на сцене и шута, такого же юродивого... А здесь, в московской земле, ничего подобного нет... И она невольно вздохнула, взглянув на солнце: и солнце здесь не такое, не так ходит, как в ее родной аглицкой земле. Так низко ходит московское солнце!..

— У нас, в аглицкой земле, я такового шута видела на theatre, сказала она, обращаясь к Оленушке.

— На чем? — с любопытством спросила девушка, которая уже много диковинного и непостижимого слышала от Амалеи Личардовны. — На чем, говоришь?

— На theatre, Оленушка, — отвечала аглицкая немка. — Да я уж тебе сказывала о theatre.

— А! Помню, помню... Это дом такой, палата большая, аки бы церковь, а в ней люди сидят на скамьях, да друг над дружкой, высоко, ряда в четыре, сидят и глядят на действие: выйдет это аки бы король, либо королева, либо принец и говорят, говорят либо подерутся нарочно, а то жених с невестой выйдут, тоже говорят о своем сердце. Ах, кабы мне посмотреть на все это!



— Что ты! Что ты, непутевая! — остановила ее мать. — В эком-то святом месте да обскоморохах... Вон и у нас на святках хари надевают да наряжаются, кто козой, кто медведем, кто бесом, тьфу! Не к месту бы сказать, грех какой!

Вдруг что-то грохнуло так, что все вздрогнули. Неупокоиха даже присела от испугу. Оглядевшись, увидела, что в одном месте над монастырской стеной клубился дым. Сотник Исачко стоял около пушки, над которой и подымался, тая в воздухе, белый дым, и смотрел куда-то в зрительную трубку. В других местах на стене тоже суетились ратные люди. Из келий торопливо выходили монахи, тревожно посматривая на стены.

— Пушкари, к наряду! По местам! — раздался зычный голос Исачки.

— Пушкари, по местам! — повторилась та же команда где-то в воротной башне, это распорядился сотник Самко.

Почти в одно мгновение передовая монастырская стена усыпана была ратными людьми. Скоро на стене показались священники в облачении и монахи. В воздухе заблестели золотые и серебряные оклады икон, несомых по монастырской стене. Церковные хоругви, возвышаясь почти наравне с башнями, веяли в воздухе как крылья и скрипели огорлиями. Впереди

процессии шел Никанор в архимандричьем облачении и митре, искрившейся дорогими камнями и бурмицким жемчугом, и, осеня серебряным распятием пушки и ратных людей, кропил направо и налево святою водой. Что-то чарующее, поражающее представляла эта картина, где, казалось, всю воинственную рать составляли черные клобуки. Со стены неслось пение нескольких сот голосов, большею частью старых, жалких, дребезжащих, как ослабевшие струны гуслей, но их подхватывали и молодые, сильные голоса, разносившиеся далеко по взморью чем-то глубоко трогательным и печальным. Казалось, древняя священная обитель отпевала себя заживо и кропила святою водой свою собственную могилу. И над всем этим стаи испугнутых голубей, и выше всех в глубокой синеве слабо поблескивает белыми крыльями общий монастырский любимец, белый турман «в штанцах».

А там, внизу, на море, на голубой поверхности залива тихо покачивались суда, привезшие ратных людей, собиравшихся громить святою обитель. Кровавым пятном горел на солнце красный флаг воеводского судна. А еще ближе, по берегу, краснелись целые кровавые полосы: это красные кафтаны стрельцов, которые, переняв у немцев некоторые воинские хитрости, шли нога в ногу, поблескивая ружьями. Впереди несли тяжелый

зеленый стяг с золотыми кистями. За ними медленно двигались, скрипя и покачиваясь в воздухе, какие-то чудовища вроде виселиц на толстых колесах: то были «тараны», стенобитные орудия, которыми предназначалось разбить в щепень стены, сложенные когда-то руками самого Филиппа, святителя московского, во время его печального изгнания. За таранами чернелись пушки, которые стрельцы везли на себе лямками. Под зеленым стягом грузно переваливалась массивная фигура, сверкая шлемом и кольчугою: это был сам воевода, холоп его пресветлого царского величества, Ивашка Мещеринов.

Еще пение на стенах не умолкло, как послышалась резкая команда, еще никогда не слыханная пушкарями.

— Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас! — прозвучал по стене голос Никанора.

— Аминь! — отвечали сотники.

И разом грянуло несколько десятков пушек. Дым заволок стены, башни и самих пушкарей. Никанор осенял пушки крестом. Хор черной братии последними надорванными голосами грянул: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Внутри монастыря слышались крики и отчаянные вопли богомольцев, которых так неожиданно застигла страшная осада.

Исачко своими косыми глазами ясно видел, что пущенные им ядра не долетели до стрельцов, взрыв землю за несколько десятков шагов впереди их строя. Пушкари вновь зарядили пушки.

Никанор, весь красный, с каплями пота, засевшими в его волосатых бровях, ходил от пушки к пушке, кадил их и пушкарей и кропил святою водою.

— Матушки мои! Галаночки! — приговаривал он к пушкам. — На вас наша надежда, вы нас обороните!

Дым ладана смешивался с пороховым дымом. Пушкари, целуя крест, снова кидались к пушкам. Голос сухого Геронтия, как боевая труба, гремел среди плачущего и взывающего хора: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Вопли внутри монастыря раздирали душу.

— Стреляйте, детушки, стреляйте! — кричал Никанор. — Да смотрите хорошенько в трубки, где воевода: в него, жирного, и стреляйте, детки! Коли поразим пастыря, ратные люди разойдутся, аки овцы.

Залпы следовали за залпами, ядра взрывали землю и разбивали камни, а стрельцы все надвигались, и все виднее и виднее вырисовывались железные головы стенобитных орудий. Последовал залп и с той стороны. Ядра, как громадные орешины, защелкали по монастырской

стене и с визгом отскакивали назад, отбивая куски камней и глины.

— В стяг-от, в стяг зеленый мети, Исачушко-друг! — молил Никанор. Там воевода.

На стену вынесли запрестольный образ покровителей монастыря. Далеко блеснула золоченая риза и золотые, с самоцветными камнями венцы вокруг темных ликов преподобных Зосимы и Савватия.

Никанор упал перед иконой.

— Святители! Угоднички! Не выдайте своей обители на поругание! вопил он, ползая перед иконой. — Гляньте-ко с неба сюда! Махните, погрозите перстами святыми на еретиков!

А ядра все гуще и гуще стучат в стены, Исачко ревет на своих пушкарей.

— Дайте, братцы! — закричал он. — Дайте, душу свою вместо ядра и зелья засыплю в матушку!

И он сам зарядил пушку, сам навел ее и грянул.

Зеленое знамя упало, словно подкошенное. Взрыв радости огласил стены.

— Стяг упал! Стяг подбили! — кричали пушкарки. — Любо! Любо! Еще катай!

Никанор, раскосмаченный, без митры, которую держал служка, бросился кропить и целовать пушку, которая поубавила московский стяг.

— Спасибо! Матушка! Галаночка! Еще угоди, в воеводу угоди, родная!

Новые залпы расстроили передние ряды стрельцов. Стенобитные орудия остановились. Москвичи задумались.

В это время там, где остановились стрельцы, чтобы, немного передохнув, снова двинуться на монастырь, справа, на пригорке, показалась человеческая фигура. Неизвестный шел к стрельцам и что-то показывал им, поднимая руки. Со стены скоро узнали его: это был Спиря, который показывал стрельцам свою скуфью с птичками.

— Смотри-тко, братцы, Спиря! — закричали пушкари. — Ай-ай!

— Он и есть, братцы. Что он задумал?

Московские стрельцы, видимо, обратили внимание на этого странного человека. Все глядели в его сторону. Некоторые побежали к нему.

В это самое время слева, где рос кустарник, как из земли выросли люди. Прикрываясь кустарником, они приблизились на ружейный выстрел к правому крылу московского отряда. И их узнали с монастырской стены.

— Братцы! Да это наши там с казаками! — раздались радостные голоса.

— Наши! Ай да молодцы! В засад пошли...

Действительно, то была небольшая партия донцов вместе с молодыми и старыми монахами из

рядовой братии, рыбаков и других трудников. Ярко оттенялись в зелени кустарника черные клобуки и скуфьи.

И вдруг из кустарника раздался ружейный залп. Московские стрельцы дрогнули от такой неожиданности: они сразу поняли, что это засада. Некоторые из них, пораженные пулями, упали. В этот момент и крепостные пушки дали залп.

Косой Исачко и кемлянин Самко распоряжались нарядом. Задымленные пороховой сажей, без шапок, то с банником в руке, то с дымящимся фитилем, они были страшны. Пушкари не отставали от них. Пушки накалились до того, что к ним нельзя было дотронуться.

— Уходят еретики! Уходят! — прошел по стене радостный крик.

— Наутек! Наутек! Улю-лю-лю!

— Святители! — с радостными слезами стонал Никанор.

Черный хор с ревушим Геронтием во главе дребезжал разбитыми голосами и гнусел до самого неба: «Взбранней воеводе победительная, яко избавляшеся от злых...»

— Хвалите Бога, отцы и братие! Кричите до самого престола его! Владыко всесильный!

Приступ был отбит.

## **IV. СИРОТСКАЯ СВЕЧКА ПЕРЕД**

# ГОСПОДОМ

Странное, удивительное то было время. Маленький островок, едва заметный на карте, ничтожный огорбок, выползший из-под неизмеримых вод Северного Ледовитого океана, крохотная песчинка среди песков морских, Соловецкий монастырь отложился, ушел из-под державы великого неисходимого Московского государства, и московский великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые России, самодержец московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверской, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода низовской земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондинский, витебский, мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверския земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич, и наследник, и государь, и обладатель (таков был полный титул Алексея Михайловича, и за прописку хотя единого